



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЖУРНАЛ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
М. ГОРЬКОГО

9

ГИХЛ

НА 50 КОП

13128

1021

От опыта Чардары зависит дальнейшее продвижение американских уландов—сортов хлопчатника—на север Казакстана до Казыменска. Тракторы уже застрекотали на обширных целинных землях, поднимаемых впервые за всю историю человечества. Если здесь когда-нибудь прежде и жили люди, то они не знали ничего, кроме кетменя и варварского омача.

Из степи уходят последние сорняки—бай и чалмоносный мулла, степь очищается, становится проводником социализма в глубь Азии. Разбредаются в разные стороны потревоженные пугливые джейраны-косули. Скорпионы и фаланги—вековые обитатели степи—последним усилием жалят новоприбывших людей, но остановить движение уже ничто не в силах.

ОСЕДАЮТ КОЧЕВНИКИ

АДАЛИС

Когда не оставалось травы для скота, они разбирали свою жизнь на простейшие элементы, погружали ее на верблюдов и везли на другое место; элементами их жизни были—длинные палки, котлы, войлок из козьей шерсти, дети, женщины и злоба. Эта злоба казалась беспредметной: «интеллигентные» народы называют ее желтой враждой, желтой опасностью; истлели десятки поколений, прежде чем мы распознали в том, что казалось бесслышной яростью нищих—лицо классовой ненависти.

Их было четыре племени и множество родов; их дом был велик—от Аральского моря до Китая, от Северного Закаспия до Ак-Молла. Себя они считали, разумеется, добропорядочными, хорошо устроенными, солидными людьми, а царские полки, по их мнению, кочевали по Казакстану, как шайки ночных воров. Русские уводили скот, женщин. Колонизаторам казалось иное: они видели толпы нищих, бессильных, больных, с гнусавыми голосами, с жадными пальцами.

Как и в Российской империи, правителями казаков были случайные, полусумасшедшие люди, достаточно наглые и жестокие для того, чтобы стойко бороться за накопление. Общественный уклад был—и остался пока еще—родовым. Почет принадлежал «патриарху»—родоначальнику. Его внуки, правнуки становились баями, кулаками; кулаки множились, приобретали уверенность класса и тот благожелательный покой в лице, который от-

личает богача от тех, кого он ограбил. Дореволюционный Казакстан—страна, где власть неприкрыто принадлежала скотовладельцам-кулакам.

Кулаки могли позволить себе роскошь—делать скот рабочей силой и выбирать пастбища пожирней; кулаки обладали временем, памятью, свободой; иногда они случайно оседали на понравившихся участках, и с ними оседали стайками те, кто не имел почти ничего...

Никто не думал, что земля уже собственность русских. А между тем в горных долинах появились деревни переселенцев, окутанные фруктовыми садами, пыльные офицерские и чиновничьи городки. По пухлым дорогам из городка в городок потянуло купеческой вонью. Мучнистые жирные барыньки, в гипсовых блузках и митенках, научились плевать вишневыми косточками в широкоскулое и косоглазое лицо...

В глубине страны обо всем этом еще не знали, но казаки стали замечать, что скот тощает и количество его уменьшается. Стада утекали между пальцев и уносились ветром, как песок. Молоко скудело, делалось соленым. Овцы, кобылицы, женщины не могли прокормить народ и детей. Кочевники метались в поисках лучших стойбищ и пастбищ, вклинивались племенем в племя, родом в род.

По встречным путям пошли сифилис и скоротечная чахотка. Быт обратился в сплошную драму.

Трехлетний ребенок, Гельды Джамгиров, подымает от игры в навозе черные глаза смертника—в них то, что называется у поэтов «великой печалью поколений»: трахома, несварение желудка, страх перед капризами природы, худосочие, любовь к теплоте молока, одиночество среди вечной смены пустынных пространств...

«Восток придет к социализму, минуя банкира». Так и случилось.

Вместо трестов, концернов, синдикатов—дружба жирных куштов в чайханах. Деньги—в матрацах, за пазухами, в подушках. Клады—в садовой земле; драгоценности—на пальцах. Конкуренция—нож, яд. Но социалистическая революция пришла, не дожидаясь буржуазной.

В начале революции Средняя Азия почти не имела пролетариата. Революционной силой были маломощное крестьянство, батраки, ремесленники. Пролетариат родился уже в новых условиях, родился для власти. Так было в оседлых районах Средней Азии. Почти пятая часть среднеазиатского населения—кочевники, полудикие скотоводы. «Бездомовники», «безземельники, бездельники»,—называют их пришлые русские кулаки. Складные юрты, случайные посеы, бегущие стада,—жаркая земля точно горит под ногами... Превращение кочевников в крестьянство для этих районов означало то же, что для оседлых превращение крестьянства в пролетариат.

Те киргизы и казаки, которые сейчас считаются оседлыми, начали оседать всего лет 30—40 назад; добрую треть этих хозяйств нельзя еще назвать оседлыми: они полукошачевые. К перемещению вынуждают их бескультурье и природные условия. Но в итоге коллективизации это полукошачье крестьянство, в авангарде союзных республик, впереди Московской области, рапортует о победном завершении сева.

Культурная и полуоседлая часть Востока идет к социализму, минуя банкира; кочевники ломятся в социализм прямо из первобытных родовых общин. Надо сказать, что нигде с такой силой и резкостью, как в этой первобытной общине, не выступают классовые границы: богатый—властелин; бедняк—раб.

К концу пятилетки 50% кочевых хозяйств должно планово осесть на землю. Все специально скотоводческие хозяйства усвоят систему культурного скотоводства, засева и заготовки кормов.

Уполномоченный крайкома, молодой казак, едет в поезде. Поезд летит по пустыне мимо громадных синих гор, сверкающих белыми зплатами вечного снега. Уполккрайкома говорит:

— На Востоке нельзя верить словам, надо верить делам... Но это верно в обоих смыслах—и в дурном и в хорошем! Есть у нас обычай: когда рождается ребенок,—первенец, самый любимый,—его поносят последними

словами, осыпают проклятьями, плюют на него, чтобы им не соблазнились и не сглазили его духи...

Это рассказывает он в шутку, ни к чему. Но потом мне приходится вспомнить его слова. А о деле он говорит без шуток.

— Нет, вы не знаете, почему трудно выполнить «оседлый» план! Вы думаете потому, что народ темен, дик, подозрителен? Не только это! Нам тормозит дело удивление. Какое? Удивление краевых, районных администраторов, хозяйственников, специалистов-землеустроителей, водхозников, агрономов. Решение партии представляется многим фантазией. Они не верят, что людей можно переделать. В этом вопросе страшно силен правый оппортунизм. Каждый агроном, каждый мясозаготовитель должен быть инструктором и агитатором по оседанию кочевников, потому что других кадров нет. А какой выйдет агитатор из человека, который не верит и смеется? Кроме того, неграмотность, отсутствие прямой связи, край разбросан по пустыням, по горам, в стороне от железных дорог. Из числа наших орудий выпадает печатное слово, газета. А культработники, пропагандисты—читанные: один на сотни и тысячи. За нас—только сила экономики социалистического строительства, общая атмосфера; у нас в руках—только личная беседа и плакат.

Трудно, говорят, уходить от мещанского уюта, от пуховых подушек, ходиков, чашек, знакомой стены перед окном.

Кошма, грязная, как подметка, палки, скрепленные высоко над верблюжьим горбом, утренняя тень горы, полумесяц над ночлегом, песчаный вихрь, семейные путевые словечки, деревянная чашка с кислым молоком,—это тоже свой, пусть жалкий и нищий, уют, и от него не легко уходить.

Вместо кровли над головой—на голове теплая шапка.

Глиняный домик с садом, стойло для скота, сад и поле,—вначале все это страшно кочевнику, как страшна оседлому бесплодная степь.

Краевые землеустроители и животноводы спорили в учреждениях.

— Что случилось? Это немисливо! Это невозможно! В чем дело? Мы не в силах обслужить даже участки, перешедшие на оседлость еще до революции! Кадров не хватает. Не окончен земельно-водный передел.

Краевые просвещенцы метались в панике: — Что значит перевод на оседлость? Это значит—сеять, а скотоводство долдой? Скот



В степях Казакстана

заберут совхозы? Чем вызвана спешка? Почему это необходимо?

Местные парторганизации терпеливо выслушивали, но отвечали нетерпеливо. Ответ окружкомов, к сожалению, в большинстве случаев был сух и краток:

— Такова линия партии.

Но почему линия партии именно такова и в чем смысл работы по оседанию, так и не узнала добрая половина землестроителей, животноводов. Планы выдавались на руки из ящиков канцелярских столов, разделенные по мертвым, ничего не объясняющим пунктам. На заседаниях обсуждалась необходимость срочной посылки разведочных экспедиций на предполагаемые места оседания.

Есть такой человек—Амир Джедашиев; он служил курьером в Аулие-Атинском райзу. Теперь он выдвиженец в краевом центре. Он усмирал панику специалистов, сияя улыбкой у входа в секретарский кабинет:

— Вы напрасно обижаетесь! Ничего, ничего не случилось, мы совсем не спешим, не бежим! Мы давно-давно решили сделать оседание. Когда мы сделали революцию, мы ре-

шили сделать оседание. Давно-давно, с тысяча девятьсот двадцать третьего года! Но так плохо и медленно делали оседание,—мы должны были напомнить; теперь вы думаете, что мы спешим!

Ответ курьера не мог убедить специалистов-животноводов. Специалистов-животноводов никто не мог убедить. Их аргумент был самым веским. Он внушал партработникам страх ошибок и звучал угрожающе-умно:

— Никогда никакой практикой не было доказано, что кочевой быт хуже для скотоводства, чем оседлый. Практикой доказано обратное. Австралийские опыты твердо убеждают в том, что кочевой скот лучше стоялого, и кочевой быт выгоднее для интенсивного скотоводства, чем оседлый.

Эти споры были в 1928 г. Формально они пришли к благополучному концу: планы были доведены до районных организаций, и наступила тишина... Только в 1930 г. она нарушилась тревогой краевой газеты «Советская степь» (Алма-Ата).

«Вопросы оседания преступно забыты!»
Статьи, лозунги, фельетоны, дневник.

И я, газетный корреспондент, ездила из райкома в райком, из райзу в райзу; допрашивала секретарей ячеек, агрономов, специалистов воды, уполномоченных по хлебо- и мясозаготовкам, двадцатипяти тысячников, шестисотников, учителей:

— Как проводится оседание у вас в районе?

Они удивлялись. Иногда они напрягали память:

— В нашем районе оседание не предполагается. Оно проводится где-нибудь в других местах.

Но агрономы, специалисты воды, животноводы и учителя вообще не знали, что такое оседание!

Так неприглядна была ведомственная внешность этого дела в Казакстане.

Какой же это, очевидно, слабый, отсталый, позорный участок нашей работы—оседание кочевников!

Нигде так наглядно и с такой силой не проведена черта между вчерашним и наступающим днем, как в этих первобытных условиях! Нигде так не оправдываются резкие линии и краски плакатов, как здесь. Черное, бесформенное, безобразное вчера—красное и зеленое сегодня...

...На второй половине плаката сияла трава цвета жуков, светляков. Дымно голубело небо. Круглые бараны гуляли по траве; древний верблюд, похожий на черепаху, лежал у входа в жилище. Жилище было четкое, глиняное, с четким окном, и окно было отворено, чтобы можно было снаружи обозреть стол, накрытый блестящей клеенкой. Счастливая женщина доила кобылу, и с женщиной разговаривал счастливый казак. Вдали виднелось длинное строение с красной надписью: Школа и ленинский уголок. В двери школы ломились пестрые толпы, изображавшие в пространственной перспективе молодежь.

Это и называлось оседание. Плакат, провисев месяцев шесть, был забракован, как сладкий, конфетный, лживый. Правда, это был скверный плакат.

...Но фургон, в котором я еду, останавливается; испуганно взывают псы, и счастливая женщина, уже отдоившая кобылицу, приглашает нас в жилище.

— Как будто я все это уже видел однажды!—чувствительно высказывается культработник из центра. Женщина не понимает его: она решает, что он хочет есть:

— Мой муж сейчас придет из колхоза,

корова сейчас придет из колхоза, тогда я вам дам кушать,—быстро говорит она на своем языке.

Жилище—глиняное; мы садимся на лавочку, за стол, покрытый клеенкой. Маленький ребенок спит в поставленной на полозья пестрой деревянной лодочке. Женщина кажется высокомерной.

— У нас есть и такие дома, как мой, и юрты,—рассказывает она, сидя на полу у выхода.—Юрты ломает ветер; нужно их всегда поправлять! В юрте очень грязно, потому что зимой холодно; у меня в доме чисто, потому что зимой тепло. Мой муж партийный человек; он просит меня вечером: «Таджи, женушка! попробуем, встанем с пола, посидим немного за столом!» Муж сейчас придет из колхоза. Вот у меня керосин, вот у меня вода, вот у меня новая бутылка. Вот у меня сын, вот у меня сыр.

Ее муж—член правления колхоза. Колхоз состоит из 160 хозяйств. 99 хозяйств давно стояли на месте, а 61 неожиданно-негаданно пришли с гор и влились в готовый колхоз, осели на пахотную землю. И Таджики—из числа кочевников.

Другой колхоз имеет 300 хозяйств; полторы тысячи га засеяны пшеницей и просом; тысяча—хлопком, кенафом и табаком. Из 300 хозяйств сидели раньше на земле только 230; 70 пришли из пустыни распахать нетронутую целину, по соседству с обжитыми участками колхоза. Распахивали с трудом: сеяли, ссорясь и склочничая друг с другом. Но распахали, но засеяли. И, пока поспеет урожай, принаравливают свою внешнюю жизнь к оседлым соседям с потрясающей и непонятной быстротой.

Прошлой весной они шли, точно гонимые джамсином¹. Шли, в поисках неведомых оседлых родичей и свойственников, небольшими таборами по 30—40 семейств. Шли те, кому кочевалось плохо: не приспособленные к вечной погоне за пастбищами, многодетные, разоренные кулаками, отделившиеся от племени, те, у кого болел и вымирал скот, и те, кто верил в существование осмысленной человеческой жизни.

Они шли с гор в долины, из степей к горам; из Красной степи в Желтую степь; из Черных гор в Красные горы. Встречаясь, они иногда продолжали путь вместе...

Третий колхоз включает 600 хозяйств, и оседлыми были до коллективизации только 400. Двести семей пришли из Черных гор.

¹ Джамсин—сухой, ураганный ветер.

Две тысячи га засеяно хлебом, тысяча—клевером, тысяча—десятком других кормовых трав. Полуживотноводческий колхоз у предгорий.

Двадцать четыре колхоза приняли на моих глазах кочевников с гор и степей.

— Сколько всего колхозов приняли кочевников?—спрашивают в плановых учреждениях.

— Статистики на этот счет нет.

В Беловодском районе, где оседание не предполагалось и не было включено ни в какие планы, на собрании предсельсоветов, пожилой человек—казак из рода гелды,—говорит:

— Было такое время, еще есть такое время в разных местах,—казакский человек служит у скотины! Куда нужно скотине, туда он за ней идет; просит у нее кушать, берет у нее одеться. Умрет скотина,—он сиротой останется. Вот она ходит, где хочет, умирает, когда хочет; бесится, ничего не говорит. Ленин сказал наоборот: «Скотина должна служить человеку». Как, Ленин это не говорил, йолдаш?¹ Ты не знаешь! Ленин писал это; к нам приезжали партийные люди, передавали его слова. Скотина должна давать столько приплоду, столько молока, столько шерсти, сколько насчитывает на нее человек! Земля тоже должна принадлежать человеку. Ленин сказал! А она разве слушает? Где хочет,—родит, где не хочет,—не родит! Дашь ей воду—будет слушаться, не дашь—не будет слушаться. Надо ее обрабатывать, копать, рыхлить, подымать. Надо выбирать хорошую, не злую. Ленин сказал, что все должно принадлежать человеку, только не должен принадлежать человеку другой человек! А у казаков человеку не принадлежит ничего,—ни земля, ни вода, ни скотина; ничто не слушается, все врозь идет, только бедный человек принадлежит богатому человеку, бедный богатого слушается. Мы стали партийные люди, хотим, чтобы все было хорошо, чтобы всего много-много было. А то ходит скотина по степям, по горам, никто ее не считает. Зимой все равно ей будет кушать нечего. Чтобы ей скотины что зимой кушать, надо посеять для скотины еду и для себя самих тоже надо еду посеять! Я сам—умный, высокоученый казак. Я умел читать по-мусульмански еще до революции потому, что я способный. Я председатель большого колхоза. Вот к нам пришли в конце зимы казаки, которые не



Казак, получивший сельхозинвентарь

сеют, которые ничего не запасли. Наш колхоз не хотел принять их, потому что у них были пустые руки. Тогда я заставил колхозников, показал колхозникам закон. Закон велит, чтобы кочевники оседали. Вот наш колхоз вдали виднеется, вот закон я за пазухой принес.

Он вытаскивает клок национальной газеты—полуистлевший, грязный, сырой. Там крупный заголовок «Переход кочевников на оседлую жизнь» и маленькая статья...

В соседнем районе—Аулие-Атинском—я встречаю рабочего-ткача из Москвы, присланного из числа 25 тысяч. Спрашиваю, между прочим, что сделано в районе по оседанию.

Товарищ Корков растерянно почесывает нос:

— Это что еще за птица—оседание? Мы здесь о таком и не слышали.

Совсем неожиданно он начинает сердиться:

— Нельзя, товарищ, разбрасываться по тысячам мелочей! И так у нас тут дела по горло! Что тут делается, вы имеете понятие? Не имеете! Чудеса творятся!—его глаза загораются от волнения, он охрип.—Для сотен

¹ Йолдаш—товарищ.

людей на моих глазах началась новая жизнь. Они родились на свет. Они раньше, как нищие, ходили, блуждали без хлеба, без сена, в труппах, в горах... Теперь они приходят в колхозы, говорят: «Вот наши руки, у лошадей ноги»,—и колхозы принимают их.

Я перебиваю его:

— Ведь это оседание! Ведь это и называется оседанием.

Товарищ Корков конфузится и хохочет, хохочет и набивает себе рот бешбармыком—местной кашей.

— Вот наши руки, вот у верблюдов ноги.—Так говорят казаки, пришедшие в колхоз, разгружают верблюдов и садятся.

Оседлая часть южного Казакстана коллективизирована на 70%. Национальные казакские колхозы—45% от этих семидесяти. И больше половины из общего числа казакских колхозов влили в себя пришлых кочевников. Это можно видеть в районах Тюлькубас, Шарам, Мерке.

Оседание разворачивается. Правда, называется оно иначе, вернее, не называется никак. Под разными именами оно стоит в порядке дня каждого местного колхоза, как самый горячий и неотложный вопрос: принимать ли пришлых единоличников? Как раскладывать урожай на колхозников, вступивших без земли? Как организовать труд среди членов колхозов, не привыкших к земледелию? Позволительно ли считать пришлого безземельного колхозника наемным колхозным рабочим, батраком?

— Откуда вы узнали о том, что советская власть хочет перевести кочевников на землю?—спрашиваю предводителя кочевой орды, располагающейся на ночлег в самой унылой из лощин Каратау.

— Разве советская власть хочет?—удивляется предводитель.—Мы не знаем; мы только знаем, что советская власть делает колхозы! Один кочевой не может сесть на землю, десять кочевых могут сесть на землю. Один сидячий не может помочь кочевому; десять сидячих могут помочь кочевому!

Он думает и добавляет:

— Советская власть делает колхозы. Самый первый раз мы узнали это от одного человека, который приезжал спросить, кому мы продаем овец?

Между прочим, так отвечают все:

— Нам сказал человек, который приезжал искать начало реки.

— Нам сказал человек, который возил мимо нас товар в ящиках.

— Нам сказал человек, который приезжал неизвестно зачем.

Оседание предreshено. Оно предreshено успехами коллективизации земледельческих и скотоводческих хозяйств Киргизии, Туркмении, Казакстана.

...На правой стороне въезшего в память плаката—вчерашний кочевой день. С подлинным верно: навоз, перегной, пепел. По холодному небу катятся серые, крутые облака; тоскиво клубится черный дым становища. Ветер рвет истерзанные юрты, гнилые, отсыревшие, цвета грязной картофельной шелухи. Тощие женские руки, вооруженные палками, поправляют разметанные ветром войлочные стены юрт...

Страшные вещи делаются внутри. Вот мечется в предсмертном ужасе на земле, на подушках и кошмах, больной хозяин. Баксы—знахарь—шаманит, сложив руки рупором у рта: сапоги и шуба, две овцы, охотничье ружье уже принадлежат ему и стоят около него. Плачет женщина, потому что ее муж умрет, а сапоги и шубу будет теперь носить знахарь. Теперь одна с сиротами должна она ходить в степь. А в степи что? Голодные, горбоносые овцы корчатся в степи! Их ждет джуг—смерть от гололедицы, когда слабыми копытцами они бессильны достать корм из-под льда. Казаки не заготовляют корма на зиму. Голодные дети греются между овцами, собирая лакомство—черные навозные катышки. Последний верблюд одряхлел. Вот он, похожий на опухшую змею,—и скоро кочевать будет не с кем. Если не скалятся добрые, богатые люди, придется лечь там, где наступит верблюжья смерть. Холод, гниль, ветер, голод, всеильные бай, всеильные знахари...

Казаки не знают, что такое сено. Этим сказано все.

В 1930 г. колхозники гиганта имени Свердлова узнали, что можно запастись на зиму корм для скота. В мае 1930 г. зазеленел первый сенокос. В июле прошла первая уборка. История Казакстана вышла на прямую путь.

У свежестроенного здания собрались дряхлые старики: встречать одно из величайших завоеваний человеческого труда—сено.

19 000 кочевников к третьему году пятилетки уже перешли на сенофураж. Переход кочевников на оседлость неминуемо обуславливается ростом коллективизации. План коллективизации выполнен и по многим районам перевыполнен. Выполнен и перевыполнен бу-

дет план оседания кочевников на землю. Иных выводов нет и не может быть.

7 человек в день, 200 человек за месяц, 2400 человек за год, 12 000 за 5 лет—шагают через тысячелетия вереницы людей, спасающихся от голодной смерти, от замерзания, от испепеляющего сифилиса, от знахарей, сосущих кровь, от бродяжнической тоски, от несравнимого ни с чем одиночества в пустыне.

В привычных пропорциях нашего строительства это страшно мало. Мы не умеем объективно считать,—мы считаем, как Гулливеры.

Попробуем вообразить себе арифметику, еще принятую на остальных пяти шестых земного шара.

Попробуем вообразить себе еще обыкновенный бронзовый век, но колонизированный и прижатый к ногтю купцами Островского и офицеришками Куприна.

Попробуем сопоставить все это с обыкновенной коллективизацией, плановой работой, ударными темпами, сельскохозяйственными машинами, ликвидацией неграмотности, анти-религиозным воспитанием.

На самом отсталом участке национальной работы, на опозоренной линии, на черной доске стоит запись гигантской победы, которой мы все же не будем обольщаться.

В Чикменте на слете рабочих, мобилизо-

ванных в помощь национальным окраинам, выступает невзрачный на вид украинец, говорит что-то невнятное, путается, конфузится, уходит обратно в толпу. Никто, очевидно, не разобрал хорошенько его слов, кроме невзрачного же киргиза, который плохо говорит по-русски, пугается и путается. Его слов тоже, очевидно, не понял никто, кроме одного казака.

Этот казак—рослый, плечистый; голос у него как карнай—азиатская труба; он прекрасно говорит по-русски: он владеет голосом; у него ораторские манеры. Он кричит:

— Здесь два товарища предложили великое, замечательное дело! Здесь сказали следующее. Слушайте! Здесь предложили: мы должны иметь в виду не только переход кочевников на оседлое хозяйство! Мы наряду с этим должны создать высококультурное кочевое хозяйство. Культурное кочевое систематическое хозяйство на опыте проверит всю научную теорию, которая предполагает, что кочевое скотоводство может стать необычайно интенсивным! Культурное кочевое хозяйство поможет нам залить светом все наши темные углы!

Так родилась еще одна новая задача и родится еще множество других. Переустройство кочевников Советского союза уже имеет свою историю.

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А
Ш Е С Т А Я
И Ю Н Ъ

М О С К В А
4 . 9 . 3 . 1

X

Ночью опоросилась свинья; в помете было тринадцать розовых и беспокойных поросят.

Гавкин-младший ходил как именинник и принимал поздравления. С неожиданной и дерзкой настойчивостью выжимал Крамен плотников из строй-

конторы. Даже Бендалиев озабоченно сказал несколько раз: — Смотрите же, хорошенько ухаживайте за маленькими поросятами!

Большая книга совхозкомбината была открыта. Первые колонки взволнованной прозы прочитаны. Жизнь, перепрыгивая через страницы, торопилась вперед.

5. ЗАПИСКИ О КАЗАКСКИХ КОЛХОЗАХ

Адалис

Джаксы

Неба не было; тускло сияла выбелевшая от зноя пустота. На сотни километров простиралось безнадежное, серое солнце. Земля страшного цвета разбегалась от ветра, как дым. По бокам дороги тянулось тоскливое пожарище — бурьян, белый от пыли, сухие листья лопухов; мертвых листьев были тысячи, сотни тысяч. Самая черная наша осень не даст представления об их мертвизне.

Полулежа на досчатом дне брички, возница радовался и пел. Под крыльями светлых лохмотьев его тело чернело, как железо. По временам он вдыхал полной грудью огонь пустыни, чад, пепел, пыль. Возница был странен: когда уныние становилось нестерпимым, он поднимался и свирепо кричал:

— Джаксы!.. (Хорошо).

Мой возница был первым и знаменитым бедняком аула Кенес. В периоды колхозных неудач и брожений его имя, Саты, скрипело на зубах дехкан, как песок: «Зачем мы будем работать на таких, как Саты? Зачем мы будем кормить таких, как Саты? Я привел в колхоз кобылиц, а Саты — вшей; Саты будет красть клевер, жрать пшеничное зерно на полях, сосать общественных коров, шить рубаху из хлопка, нюхать чужих жен! Старики и муллы правы: по ночам мертвецы встают из могилы сосать кровь живых... Нищий все равно, что мертвец».

Но колхоз окреп, вырос, изменил психологию людей, объединил четыреста соток хозяйств. Посевной план был выполнен на шестьдесят четыре процента,

хлебоуборка встречена в боевой готовности, и второго августа к городу Мерке двинулся первый красный обоз.

Саты вез меня на кенаф еще задолго до обоза в Аулие-Ата, в один из периодов упадка. Периоды упадка в казахских колхозах, как приливы и отливы: в зависимости от притяжения к краевому центру, его поворотов, его фаз, рассылаемых им инструкторов. В те дни колхозу не светило: центр забыл о нем, отозвав партработников в крайком; агроном — толстозадое, пьяное трепло, самарский купеческий сын — презирал чужую землю, как падаль.

Вдобавок дул ветер, похожий на пловодье сулемы, — то был воздушный пожар-невидимка! И, прикасаясь к полям, он делал невидимками хлеб и хлопок, истончал их в золу. Мы ехали мимо казахских сенокосов, пепельно-стальных, как северные моря, мимо серых, ледяных сенокосов и полей пшеницы, жиденькой, как плохой овес: слабый хлопок походил на незадавшуюся гречиху; мы встречали одного за другим искалеченных представителей нищенского колхозного инвентаря. Но дощатая бричка, громыхая, пролетала через рвы и ухабы, и возница выл: «Джаксы!»

Эта бодрость могла внушить суеверный ужас.

При случае он дал объяснение. У меня записаны в переводе его простые слова:

— Мы ехали с товарищем среди пышных плодородных полей. Наши высокие колосья доходят человеку до самых икр. Зерно пшеницы больше зерна проса в пять раз: с'ешь десять зерен с кислым молоком, будешь почти сыт... Кругом лежали чудные сенокосы. Раньше ни-

когда казаки не собирали сена, трава пропадала. Теперь мы в первый раз сложили траву в кучу, и она наполовину не пропадет! Ты говоришь: наша трава черная и белая? По-казакски этот цвет как раз называется «зеленый»! Я показывал наш хлопок,—у него есть маленькие листики, через каждые два негодных листика один вполне годится: из хлопка можно сделать рубахи и штаны. Раньше там, где хлопок, было лысое место. Я радовался и кричал.

Прошло несколько дней сеноуборки. Бесконечной, безлесной равниной поздним вечером мне пришлось ехать верхом из 18-го аула в аул Ак-Су. Песок пустыни тихонько шипел под копытами коня. Меня окликнул глухой и страстный голос:

— Товарищ! Здравствуй! Договори со мной про войну! Я жду тебя в общественном саду, который мы посетили прошлым летом. Я жду тебя в общественном саду над холодной водой...

Под одиноким, маленьким деревом сидел возница. Здесь протекал арычок, такой узенький и слабый, что можно было узнать в нем воду, лишь приложив ухо к его груди.

Через три дня Саты послали ходоком в Мерке с жалобами на неисправные машины. В Мерке Саты добился всего, чего хотел. На обратном пути его ужалила степная гадюка. Он прошел в юрту, где жила его мать, поел, попил и умер.

Первый разговор

(Переводчик Джушун Тулумбеков—бесстрастен)

— Почему ты плачешь, старик?

— Я плачу потому, что ты скушал куже.

— Тебе жалко куже, старик?

— Мне не жалко куже. Я плачу потому, что ты был так голоден. Слава времени Ленина, мы едим два раза в день!

— Нет, я не голоден, мы едим четыре раза. (Куже — кунак с кислым молоком. Кунак в переводе — друг. Кунак — сорт мелкого проса. Его варят в молоке, и варево заквашивают. Куже хранят в сушеных бараньих желудках. Эти вкусные, прозрачные мешки покрыты коростой грязи).

— Очень хорошо!

— Почему же ты плачешь, старик?

— Я плачу опять потому, что ты скушал куже.

— Опять тебе жалко куже, старик?

— Я плачу потому, что ты так болен! Мы ездим к хорошему доктору, чтобы у нас не пропадали носы. Почему ты не лежишься тоже? Твой нос красивый и чистый, но он мертвец; я это понял. Ведь русские не едят нашей пищи, плюют на куже и на арьян. Русские не едят из нашей посуды; им воняет от наших турсуков и от наших рук. А тебе я достал из-за пазухи свою деревянную чашку и налил тебе куже из турсука. Я подал тебе угощение собственными руками. Бедный сирота!.. Тебе даже не воняет от нашей пищи! Ты ед куже из моих рук и не бранился, и не плевал!

— Нет, я совсем не болен. Твой обед, по-моему, пахнет потом и нищетой, я отлично слышу, но я знаю этот запах с детства, он не пугает меня. Я жрал на своем веку всякую гадость. Пот и работа пахнут одинаково у всех — у русских и у казаков, один чорт.

— Мне будет сто лет через десять лет, про меня однажды писали в газете. Я много чего видел: всякие джайяу, удовольствия, сны, смерть, войну, города Алма-Ату, Аулие-Ату, Джаркент, землетрясение, разные аулы; я не видел таких слов, как ты говоришь. Я верю тебе: у тебя драгоценные часы на руке, крепкое, большое платье и хурджум из хорошей желтой кожи,—мне сказали уже, что он называется портфель. Я слышу твой богатый, ученый голос.

— Почему же ты плачешь, старик?

— Я плачу потому, что ты скушал мой обед из моей чашки. Джасасун русские рабочие, братья казакских дехкан!..

Бред

По ночам роса, как болото; гор не видно; холодно, ржут кони. К юрте председателя стекаются всадники. У соседних юрт бесятся псы; к тонким кольям привязаны телята и бараны. В ямах тает лиловый огонь; женщины варят мясо.

Впереди тускло сияет темечко встающей луны; это свет над юртой председателя: верхний, открытый круг называется «солнцем юрты».

Председатель сидит на кошме в кругу членов правления и бригадиров. Разговор о кенафе: «Он гибнет; его душит бурьян; чтобы кенаф не погиб, надо рыхлить, окучивать, полоть, пускать воду, — колхозники не хотят (народ отбился от рук, народу нужна плетка). Слишком утомительно созывать колхозное собрание. Лучше бы район прислал ухаживать за кенафом комсомольцев и учеников».

Сыштен конский храп; кони пихают юрту.

Председатель лениво бранит секретаря ячейки: «Ириджек, ты должен был хлопотать, тебе верят в райкоме; я выводел тебя в люди не затем, чтобы ты сопел; если мы не выполним план, нас разгонят. Разгонят и арестуют и выгонят из партии».

Рабочий, присланный с шефзавода, просит: «Перевод керек!»¹⁾

— Они говорят просто так, по семейным делам, — улыбается переводчик.

Керосиновая лампа коптит. В «солнце юрты» сыплются роскошные звезды. Секретарь ячейки вертит в пальцах камчу. Бригадирь хотят кульчитая. Жена председателя хочет, чтобы бригадирь ушли; кульчитай из-за них, чего доброго, простынет; его надо скорей подать мужу и гостям.

Бригадирь прочно уселись: они тоже люди, они родственники жены председателя и родственники его приемного отца, работают целый день, подвергаются опасности; колхозники их ненавидят. Придется делить кульчитай на всех!

Председатель ругает переводчика — секретаря колхоза:

— Почему ты не можешь ответить дорогим гостям, сколько уже собрано сена? Уж не я ли должен помнить все цифры? Я вывел тебя в люди не для того, чтобы ты смердел.

Я прошу: — Перевод керек!

— Он говорит, что мы сейчас будем ужинать, — улыбается секретарь колхоза, — ложитесь ближе к председателю, дорогие гости, уже дают.

Жена председателя — активистка Джамилэ; дочь председателя — комсомолка Шарка. У них лица круглые и тонкие,

как «солнце юрты»; длинные, выпуклые глаза; у матери в морщинах копоть.

Кульчитай — вареная баранина с вареным тестом, похожим на желтое атласное тряпье; пар от кульчитая пахнет прачечной.

Председатель кричит: — Абду-Вали, слей нам на руки! — Абду-Вали Умаров — недавний батрак; член правления колхоза; кандидат партии. Он обносит собрание узкогорлым кувшином с водой; Джамилэ обносит гостей полотенцем: «свои» утираются тряпкой, на которой поставлена чашка с едой. Чашка поставлена перед председателем; гости и приближенные подтягиваются к еде; бригадирь ждут остатков.

— Мы живем во времена большого напряжения, — говорит за ужином председатель по-русски, — левый уклон, можно сказать, раздавлен; раздавить правый будет не легко, особенно у нас. Казаки еще совсем дикари, совсем темные люди.

Председатель колхоза не казак; он просвещенный кавказец. Он старый революционер, по его словам, и бежал сюда в 1910 году от гонений правительства. Одиннадцать лет он служил десятником на Среднеазиатской железной дороге. Его усыновил бай — богатейший бай Дарбазов, выдал за него свою дочь. Аул уважил богатого бая и сердитого' десятника. Бая раскулачили; на степях его стал колхоз. Активистка, байская дочь Джамилэ ездит делегаткой в город. Фамилия председателя — Тазидинов. Он бывший меньшевик.

— Гражданин Тазидинов! Почему Джамилэ и Шарка не ужинают с нами?

— Не знаю, дорогие гости, не могу знать.

Все члены правления, понимающие русский язык, переглядываются и смеются:

— Разве женщины могут есть вместе с мужчинами? Это неприято. Нельзя.

Кульчитай председателя всегда из гнилого мяса; председатель скуп.

Блюдо с об'едками переходит к бригадирям. Старик Калтабаев со свистом обсасывает мосол. У Калтабаева сифилис в третьей стадии; безносый, с тихими глазами, он похож на смерть.

— Ну, теперь перейдем к очередным вопросам дня, — говорит председатель.

¹⁾ Буквально: «Дай перевод!»

Джамилэ и Шарка ложатся спать на широкий помост, занимающий четверть юрты. Из груды подушек и тряпья слышен их сдавленный шопот. У входа ржет конь. С коня спрыгивает тщедушный человек. Замученный и сорокалетний, он выглядит лет двадцати.

— Адильханов, — шелестит собрание, — вот Адильханов.

Председатель сжимает нам локти:

— Его надо арестовать, я говорил вам. Он разлагает колхоз, он — бунтовщик.

Адильханов садится, сжимает камчу в желтой, сухой руке, водит беспомощными, страшными глазами. Он — начальник технических культур.

Заседание открывается. Председатель делает доклад о состоянии уборочных работ: «Дисциплина неслышанно пала. Треть колхоза не выходит на поля. В разложении виноваты бригады. Организации труда — никакой. Район не присылает помощи. Руководства от района нет. Актив и правление бездействуют. Во всем этом лучше открыто сознаться. Он борется с разложением ночью и днем. Один в поле не воин. Активистов надо подтянуть».

Бригады кричат: «Мы не виноваты. Крестьяне не слушают нас; заставить их работать невозможно, нас обижают, нас не хотят уважать, мы получаем ничтожное жалованье; народу нужна камча!»

Вскидывается двадцатипятилетний: «Вы — не актив. Вы — паразиты. Вас надо сменить, выблядки. Товарищи! Надо сменить их на колхозной сходке! Перевод керек!»

Старый сифилитик взлетает с кошмы.

— Нас сменить нельзя. Если нас сместят, кто же будет работать? Мы самые лучшие, и, кроме нас, в колхозе никого нет.

— Нельзя их сменить, — идет на пятную председатель, — потому что, кроме них, выбрать некого; они самые отборные; казаки — темный народ.

Я спрашиваю: когда их выбрали?

Председатель молчит.

— Нас еще не было, — вспоминают двадцатипятилетний и рабочий шеф-завода.

— Когда начинался колхоз, — отвечает переводчик-секретарь. Бригады глядят сонными, длинными, непонима-

ющими глазами. Секретарь партиячейки спит, вольно раскинувшись на кошме; его жирный от кульчитая рот облепили мухи.

Адильханов встает, качаясь на кривых ногах.

— Их не выбирал никто, колхозных сходок у нас не бывает. Бригады не значило правление. Правление тоже не выбиралось, оно основало колхоз и с тех пор осталось во главе.

Я спрашиваю: это правда?

Председатель щурит на коптящую лампу огненный кавказский взгляд, крутит седой кавказский ус, вытаскивает серебряные часы из жилетного кармана, сморкается в большой шелковый платок.

— Да, мы — основатели колхоза. Я скажу вам по секрету по-русски: если я уйду, колхоз распадется, он держится только мной. Иридженов, объясни товарищам.

Секретарь партиячейки спит. Заснули некоторые из бригады, успокоившись, что сменить их нельзя. Тонко храпит Шарка, раскинув красивые смуглые руки в серебряных браслетах. Роют землю кони по ту сторону юрты.

— Надо разбудить участников собрания.

— Они заснут опять.

Двадцатипятилетний шепчет на ухо:

— О, как тяжело работать, не зная языка! Переводят не так, как нужно, не то, что нужно, не переводят совсем. Они все тут родственники. И Адильханов говорит, что они все — баи. Проверить это нельзя: их скот, их кони в горах.

Адильханов улавливает свое имя, тоскливо улыбается. Выходит поглядеть, привязан ли его конь. Возвращаясь, читает «записку» нашей бригады: рисунок, изображающий ветлу; в небе закатывается луна; у ветлы три человека; четвертый приближается на коне.

Он понял. Мы встретимся глубокой ночью.

Уже воют псы. Перестали жевать кони. Пора кончать официальную часть.

— Разбудите участников собрания. Мы хотели информировать актив о рапорте XVI съезду. Мы хотели ознакомиться с формами учета в колхозе и формами организации труда.

— Бригады заснут снова. Информировать тех, кто не спит. Мы каждую ночь собираемся, сидим до рассвета. Информировать тех, кто не спит: меня, Кайтая, Алтая, Заира и Пусры. Актив информируйте завтра. Мы подготовим отчет.

Псы визжат и воют. Иридженев ворочается.

Председатель повторяет:

— Каждую ночь мы собираемся у меня в юрте, мы обмениваемся мнениями; завтра ночью мы соберемся опять, будем сидеть до рассвета. Пожалуйста завтра ночью ко мне.

Двадцатипятилетний встает, потягиваясь, вздрагивая. Адильханов отвязывает коня.

— Хайр, хайр, товарищи, хайр.

Смеется Алтай, милый, жирный, похожий на гималайского медведя; кулак, дрянь, зверь:

— У мене лапша и пельмени. У мене русский примус. Иди ко мне сидеть ночь.

— Нет.

Роса, как болото. Земля — черный воздух. Небо — ветер. Искать ветлу, единственную в пустыне, цепеня от холода с гор, ждать.

Завтра произойдет революция.

Добрый кузнец

В ауле номер четыре (глубинный сыпной пункт), он же кишлак Тюлькубас (Лисья голова), в зоне мягких и мощных ветров, веющих с Тянь-Шаня, некто Нагман Шукуралиев, боясь сенофуражных заготовок, поселя клевер в саду. По темноте и невинности мало ли что может изобрести середняк!.. Разъездным работникам редактор газеты советовал: «Помни о живом человеке». Редактор — очеркист. Газета работает при окружке.

В саду Шукуралиева есть персиковые кусты. Два огромных и светлых ореховых дерева задуривают головы гостям непрерывным поступательным шумом. Без умолку заговаривает зубы вода в арыке, обгающем сад, как мышь; кипит и волнуется клевер; взбалтывается с шелковым шумом тяжелый кумыс в четвертях; хозяин угощает с доброй, тихой улыбкой.

Между округом и Тюлькубасом лежали пустыни и пески. Шестисотник

Андреев весь распух и почернел от укуса фаланги. Надо было часто голодать. На нищих кочевках преследовали иступленные собаки. Пыль раз'ела зубы и гортань. Солнце, климат, почва, рельеф местности были бесчеловечны.

Незаконный клевер Шукуралиева поднялся в рост пятилетнего мальчишки, удивительно приятный и живой. Его щекочущее тепло — температура человеческого тела. После мертвых переездов лечь в такой клевер — до слез.

Хозяин кормит мягоньким кульчитаем. Он и брат его говорят:

— Трои слова — золотые слова; нельзя гнать живых людей в колхоз насильно; расскажи нам, товарищ, что было на шестнадцатом съезде, чтобы мы понесли эти золотые слова темным людям в горах. Уж мы обязательно понесем!

Сердце всплывает к горлу шаром сливочного масла. Над полными, седыми горами висит полная, седая луна.

В кишлаке Тюлькубас днем и ночью открыта харчевня. В большие пиалы кладется жареный, жирный картофель, потом наливается бронзовый бараний бульон. На тонких ишеничных лепешках телесного цвета выколот круглый узор, означающий «колесо бытия». Он типичен для всех хороших лепешек, имеет отдаленное отношение к религии, выдуман давным-давно служителями буддийского культа. Обед с двумя лепешками стоит шестьдесят копеек; работники из центра и с мест сладострастно урчат.

Ночью Шукуралиев обходит сад. В своем саду он, как вор; за глиняным дувалом ворчат соседские собаки. Сынишка стоит на стреме, прижавшись сердцем к сонному молодому коню.

Шукуралиев наладил на арыке великолепную мельницу. Мельница работает ночью, когда в арыке много воды.

«Сталин, сказал: все, что растет в саду человека — собственность человека».

Приятно жить по слову законов.

Прекрасная мельница растет в саду и обмолачивает зерно соседей, они платят хозяину зерном. Он не сеял. Он нуждается. Каждое утро с добрым и тихим лицом он запрягает арбу, наваливает на нее мешки, кошмы, клевер.

Старшая жена хозяина и трое детей едут в поля подбирать колхозный ко-

лос. Колхозы безудержу теряют колос, потому что не умеют справиться с машинами. Но у хозяина две жены. Две жены, два коня, две коровы. Он может обеспечить себя, как птичка. Он учит соседей поступать по его бесхитроственному примеру, пока рик организует ударную комсомольскую бригаду по уборке колхозных следов.

В полдень длинные синие стрекозы всплывают над водой. Вода на мельнице мирно стрекочет. Два худых, как кузнечики, батрака, счастливых своей судьбою, окапывают хозяйский арык. Их пот пахнет простоквашей.

— Отдыхай, справедливый товарищ! Пусть дом Шукуралиева будет твоим домом, мои дети принесут тебя люля.

Невинные, толстые дети хозяина, похожие на черных голубей, веселятся тряпочками и палочками.

Добрый и тихий хозяин держит пиалу с молоком.

«Помни о живом человеке».

Хозяин не сеет и не жнет, а берет от колхозов подряды на кузнечную работу. В кузнице работает он сам и его брат, в кузнице играют подростки-подмастерья; пока молодые, пусть поиграют: они учатся мастерству у мастера по просьбе их нищей родни; хозяин не берет с них денег, — он еще платит им изредка сам. Простой, милый человек, почти колхозник, — всякий проведет его: колхоз уже чуть-чуть не отказал ему в хлебе за то, что он бедный кузнец.

— Пей, кушай, товарищ!..

Неустанным трудом сколотил он двух коров. Из коров полезли телята. Немного молока у него всегда найдется: кобылье — для мужчин и джигитов, коровье — для женщин и детей.

— Спи, товарищ!

Работники из центра и с мест спускаются с гор усталые, как волки. Напротив дома Нагмана — райисполком. С Тянь-Шаня веет глубоко человеческий ветер. Кузница Нагмана — на углу. Его брат, слабый здоровьем, живет при кузнице. У брата — чистенькая, глиняная комнатка и аккуратный очаг. У брата есть новенькое ведерко с пустыми маковыми головками. Мак в переводе — кукнар.

Из маковых головок варят успокаивающий чай. В русских деревнях этим чаем поят невыносимых младенцев. Варить можно послабей и покрепче. Кабак, где пьют крепкий маковый чай, называется кукнар-хане.

Порядочный мусульманин не пьет макового чая и не шляется по кукнар-ханам. Но если добрый человек должен бедняку за работу, он угостит его маковыми головками. Жадность, злую память, вражду, зависть, любовь к чужой собственности залечивает маковый чай.

«Помни о живом человеке».

Клевер непередаваем. Нет ничего равного ему по щекочущей нежности и теплоте. Его легкие листики льнут к рукам и щекам отдыхающего, как ресницы ребенка; он растет в саду; он растет там по наивности сеявшего его; клевера по существу так мало, что он не подлежит сдаче. Его вырастил Нагман Шукуралиев, тихий, добрый кузнец, у которого всегда найдутся молоко и подушка.

Нагман Шукуралиев — подлец и классовый враг. Его надо лишить голоса, выгнать из Тюлькубаса, стереть его следы, отнять у него лошадей, коров, жен и детей, вырвать его корни, уничтожить его как класс.